

# ЛЯЛЯ ПРАХ

СЦЕНАРИЙ СВОЕЙ СУДЬБЫ ТЫ ПИШЕШЬ САМА!

ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРА

«МУЖЧИНЫ СОЗДАНЫ, ЧТОБЫ ИХ...»

## ЗАПАХ

НЕОТПРАВЛЕННЫХ

## ПИСЕМ

*Продюжмент*

Легенда русского Интернета

Ляля Прах

**Запах неотправленных  
писем. Пробуждение**

«Издательство АСТ»

2020

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

## **Праха Л.**

Запах неотправленных писем. Пробуждение / Л. Праха —  
«Издательство АСТ», 2020 — (Легенда русского Интернета)

ISBN 978-5-17-134299-9

Все мы родом из детства. Наши страхи и вечное чувство вины – тоже оттуда. Мать никогда не любила Анну, занятая своим горем, а отца и вовсе не было. Одинокaя девушка отчаянно ищет любви и выходит замуж чуть ли не за первого встречного в попытке ощутить, что такое нежность и забота. Но все идет совсем не так, как она себе представляла. Очень быстро муж из великодушного рыцаря превращается в незнакомца, который может ударить ее за малейшее несогласие. Вскоре Анна рождает сына и только тогда наконец задумывается, какое же «наследство» передаст своему ребенку. Способна ли она переписать сценарий своей судьбы и отказаться от близких ради себя и своих детей? Но прежде... понять, кто эти самые близкие. Те, кто соединен с нами общей кровью или обручальным кольцом, а может, те, кто готов понять и принять нас, как и мы – их?

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-134299-9

© Праха Л., 2020  
© Издательство АСТ, 2020

# Ляля Прах

## Запах неотправленных писем. Пробуждение

© Прах Л., 2020

© ООО «Издательство АСТ», 2021

*Есть заповедь: «Почитай родителей своих»,*

*а я говорю: «Почитай детей своих, ибо они – наше будущее»*

Анна, замерев на месте, смотрела в одну точку и не слышала, как звонили в дверь. В общем-то эта привычка уходить так глубоко в свои размышления, чтобы не замечать ничего вокруг, досталась ей из детства. Анна часто думала о том, что было первым, курица или яйцо – то есть в какой последовательности в ее детском мире поселились вечное раздражение матери и вот эти временные отрезки, в которых она исчезала для внешнего мира.

– Анна, опять ты летаешь в облаках! Заняться больше нечем? Иди и уберись в своей комнате, как можно жить в таком беспорядке? Ну почему все дети как дети, одна ты не от мира сего. – Грузная фигура Фрэнсис нависала над маленькой Анной, заставляя ее почувствовать себя еще меньше – чем-то совершенно незначительным, неважным. И этот взгляд. Взгляд суровой женщины, понятия не имеющей о том, что в мире существует и нежность, и хрупкость.

В общем-то именно такой Анне и запомнилась ее мать. Всегда уставшая и всегда недвольная дочерью. Что бы Анна ни делала, все было не так: чай, приготовленный с любовью, каждый раз называли помоями, горячие румяные бутерброды – углями, первый сдобный кекс – плоским блином, распущенные волосы – жидкими, волосы, убранные в прическу – мышинным хвостом. Фрэнсис, верно, считала, что таким образом воспитывает в дочери стремление к совершенству. Однако будучи ребенком Анна искренне не понимала, почему бы ей не заварить чай себе самой именно так, как ей нравится, а не просить об этом каждый раз дочку, вырывая ее из мира игр в любой удобный для мамы момент. Почему не заняться собственной прической, которую в общественных местах Фрэнсис обычно стыдливо прятала под меховой шапкой; Анне всегда казалось странным, что мать, приходя в гости, снимает пальто, оставшись в одежде с коротким рукавом, но при этом с большой жаркой шапкой на голове. Наверное, мерзнет – такое оправдание выбирала Анна для матери. Но самое главное, Анна не понимала, почему она должна убираться в своей комнате тогда, когда этого хочет мать. Ведь это же ее, Анны, комната! Вот же ее старый плюшевый мишка без одного глаза, ее любимая книга с раскрашенными чернилами страницами, ее деревянная кровать, машинка без колеса – ведь все это ее сокровища. Так почему мама решает, когда, как и куда Анне их убирать.

Приблизившись к подростковому возрасту с его сменами авторитетов и приоритетов, Анна отчетливо уяснила, что она какая-то не такая, какой положено быть мифическому «нормальному человеку», с которым мать постоянно ее сравнивала, и не в пользу Анны. Идеально убранный комната каждый раз оказывалась убранной недостаточно идеально, в чае, завариваемом теперь в новомодных пакетиках, то недоставало сахара, то он был слишком сладок. Длинные волосы необходимо было незамедлительно постричь под каре, а каре затем нужно было волшебным образом заплести в косу, чтобы «не свисало». В общем, что бы Анна ни делала, все оказывалось не тем, не так и не тогда.

Неудивительно, что в детстве девочка сбегала в свои мечты и размышления, замирая на месте и всматриваясь в одну точку недвижимым взглядом. Как же это раздражало Фрэнсис! Ведь, по ее мнению, Анна в это время не делала ничего полезного, маялась дурью и вообще у нее была пустая голова. «Пустоголовая, – именно так чаще всего называла ее мать в такие моменты и каждый раз добавляла: Вся в своего отца!» – отца, которого Анна не видела никогда.

Но внутри Анны в это время то оживали наполненные глубокой философией цветные миры, то решались сложные математические задачи, то абстракции физических формул, заложенные в несколько скудных символов, разворачивались во всю красоту происходящего в мире, недоступном остальным.

Анна не оправдывалась, не пыталась объяснить, что происходило с ней в такие моменты, да и что мог объяснить ребенок, который смотрит на себя глазами матери и оценивает себя ее словами. И верит. Каждому плохому слову. Как и каждому хорошему, которых Анна, увы, не слышала от матери почти никогда. Как может ребенок понять свои чувства, которые ему должен бы помогать осознавать и правильно проживать взрослый и самый важный в жизни человек? Взрослый... который сам так и не вырос... Поэтому Анна все больше молчала и все больше уходила в себя. А мать все больше разочаровывалась в дочери, которую в своей идеальной картине мира видела жизнерадостной пухлой хохотушкой, собирающей комплименты всех знакомых и соседей. Видела такой, какой была ее первая дочь Бэтти, розовощекая веселая малышка, не дожившая двух месяцев до своего трехлетия.

\* \* \*

Дурацкая прививка. И зачем ее муж послушался эту старую гримзу – врачиху, которая настойчиво склоняла их к очередной прививке после того, как малышка Бэтти еле перенесла предыдущую. Страшная агония, удушливый отек, эти большие голубые глаза, полные ужаса, умоляюще смотрящие на мать, которая ничем не может помочь (отчего безумное отчаяние в ее душе дало роковой разлом по трещинам старых потерь). В тот раз Бэтти спасли, выходили. Мистер Беркинс, их давний семейный врач, работавший в детской больнице, однако по старой дружбе продолжавший приходить по необходимости теперь уже к ребенку своей совершенно особенной пациентки, вовремя предпринял все необходимое для того, чтобы малышка не впала в кому. Тот самый мистер Беркинс, который спустя год рыдал на похоронах Бэтти, казалось, громче самих родителей, повторяя без конца: «Зачем? Зачем?»

Это «зачем» чернилами татуировочной машинки впечаталось в мозг Фрэнсис на всю оставшуюся жизнь. Ведь она же чувствовала, как всегда чувствует мать свое дитя, что не стоит испытывать судьбу, так благосклонно вернувшую ее дочь с того света. Но Скритчер, муж Фрэнсис, настаивал на том же, на чем и эта гримза, по совместительству подруга его обожаемой мамочки.

Мать всегда оставалась для Скритчера непререкаемым авторитетом; она все еще покупала ему одежду и бритвы, будто он не способен на это сам. Его мамочка, лучшая женщина в мире... ментально кастрировавшая своего сына, лишившая его возможности нести ответственность прежде всего за себя самого и, как следствие, за свою семью. Подгоняемый своей неугомонной матерью, сующей нос во все житейские дела молодых, Скритчер давил на Фрэнсис, убеждая, что произошедшее с Бэтти было всего лишь случайностью, нелепым стечением обстоятельств, что скорее всего какой-то скрытый вирус блуждал в это время по организму маленькой Бэтти, он-то и спровоцировал такую реакцию на очередную прививку. Ведь, аргументировал он – опять же словами своей матери, – на предыдущие прививки не было таких реакций. Подумаешь, поднималась температура и отнималась ножка – это нормальная ожидаемая реакция. Так написано в инструкции к вакцине.

Мистер Беркинс, однако, раз за разом давал малышке Бэтти медицинский отвод. Он ничего не объяснял Фрэнсис, только дал понять, что не хочет лишиться своего места врача, а потому не может сказать ничего конкретного, только дать рекомендации больше не прививать. Но, сказал он, принимать решение должны родители, и только они.

Вскоре мистер Беркинс уехал на полгода в глухую сельскую местность, где в это время вспыхнула волна какого-то новомодного вируса: работавший там молодой врач, единственный

на все поселение, уже не справляясь с ситуацией, написал ему письмо с мольбой о неотложной помощи. Мистер Беркинс выехал ночным поездом, оставив на всякий случай координаты своего знакомого врача, небезызвестного педиатра. Однако матушка ее мужа, прознавшая об этом от вечно докладывавшего ей все сына, решила, что цена жизни Бэтти слишком завышена, ведь визиты такого хорошего педиатра стоили соответственно, и настаивала на весьма бюджетных услугах ее старой знакомой, той самой гримзы, с которой уже успела бесцеремонно обсудить все моменты не столь длинной, но такой же частной, как и у любого взрослого, жизни Бэтти, да еще без ведома Фрэнсис.

С того времени не проходило и недели, чтобы муж Фрэнсис, возвращаясь с воскресных обязательных встреч с хлебосольной мамочкой, собиравшей вокруг себя своих молодящихся подруг и обязательно приглашавшей любимого сыночка, не заводил разговора об обязанности отвести девочку к старой гримзе на вакцинацию. Будто у них не было других тем для их семейных посиделок, на которые, к слову, Фрэнсис так и не была ни разу приглашена, о чем в последнее время не особо и сожалела, хотя вначале была уязвлена таким к себе отношением. С каждым разом, приходя оттуда, Скритчер становился все настойчивей и безапелляционней. Главным аргументом его мамочки, а значит, и его аргументом, было: «что скажут люди». Фрэнсис как никогда ждала возвращения мистера Беркинса, потому что не знала, что ответить на откровенную глупость, и всегда терялась в такие моменты. Однако все время старалась перевести тему.

Она уже давно уяснила, что мужу, в общем-то, неинтересно ничего и никто вокруг, кроме его собственной персоны. Он всегда говорил о себе. И Фрэнсис заводила разговор о Скритчере, который с радостью начинал разглагольствовать насчет величия его планов на жизнь, параллельно не забывая перемыть косточки всем, кто хоть как-то пересекался с его деятельностью.

С годами Фрэнсис научилась слушать и не слышать. Иногда она смотрела на мужа, рассуждающего о жизни и людях примитивными мыслями своей мамочки, а перед глазами плыли воспоминания о ее первой любви. О безмятежности и счастье с юным Колином, о первом поцелуе, о первых неуверенных ласках, о нежных прикосновениях его теплых пальцев... А потом в один момент все закончилось. Он спешил к ней, как всегда безупречный и с букетом ее любимых фрезий. Так его и нашли – с алыми пятнами крови на белой выглаженной рубашке. Фрезии, лежавшие тут же, в луже крови, тоже выкрасились в алый. И бархатная коробочка из-под кольца рядом. Только кольца внутри не было. Кольца, которое он выбирал с такой любовью у «Тиффани» тем утром, кольца, которое должно было украсить палец любимой Фрэнсис, кольца, из-за которого молодой наркоман, погибающий от ломки, проследил за Колином от ювелирного и перерезал ему горло от уха до уха за дозу своего смертоносного кайфа...

Фрэнсис узнала обо всем только вечером. Она удивилась, что Колин, всегда такой ответственный, не появился в то утро на занятиях. Тем лучше, подумала Фрэнсис, ведь ей было что рассказать любимому. Последнюю неделю она чувствовала себя неважно: эти головокружения и легкая тошнота по утрам. Сначала она списывала все на стресс из-за предстоящих выпускных экзаменов, но когда случилась задержка в естественном цикле организма, всегда работавшем четко, как швейцарские часы, она наконец поняла причину всех этих симптомов. И обрадовалась. Ни тени беспокойства, неуверенности или страха. Она как будто знала, что так и должно быть, что это настолько естественно, что по-другому и быть не могло. Плод их любви надежно занял место в ее еще плоском животике. Вечером она собиралась рассказать обо всем Колину. Она представляла его полные счастья глаза – и бабочки в ее животе танцевали танго.

Фрэнсис добавляла последние штрихи в свой образ, поправляя нежные соцветия любимой фрезии в локонах безупречной прически, когда раздался звонок в дверь. Она немного задержалась в комнате, нанося по капле аромат любимых духов, которые ей подарил Колин, на шею и запястья, а когда спустилась вниз, уверенная в том, что это любимый зашел за ней,

чтобы пойти в кино, как они и планировали вчера, застала странную картину. Она никогда не забудет бледное лицо своей матери и растерянность на лице отца. А также человека в форме на пороге их дома. И эти слова. Ничего не значащие пустые слова формальности: «Приношу свои соболезнования». Страшная догадка мелькнула в ее голове и незамедлительно подтвердилась, когда она опустила глаза на заголовок газеты, которую ее отец держал в руках. Он глазил: «Молодой Колин Беркинс найден мертвым». Дальше все происходило будто в замедленной съемке какого-то немого кино...

Позже, когда заботы о новорожденной Бэтти вытеснили боль утраты самого дорогого, что было в ее такой еще короткой жизни, она удивлялась своей реакции в тот момент. Не было ничего, что показывают в фильмах и описывают в книгах – страшного крика, заламывания рук, обморока. Она просто молча повернулась, поднялась обратно к себе в комнату, тихо прикрыла за собой дверь, повернула ключ в дверном замке, легла на кровать, повернувшись лицом к окну и обхватив колени руками, и лежала так долго, очень долго. Ей казалось теперь, что тогда она даже не моргала. В дверь стучались, сначала настойчиво, потом все тише, потом стук прекратился вовсе – видимо, родители поняли, что ее горе принадлежит сейчас только ей одной. Сколько прошло? Сутки? Трое? Неделя? Дверь открыли запасным ключом. С ней пытались заговорить. Приносили поднос с едой и уносили его нетронутым. Потом пришел мистер Беркинс, постаревший за эти дни на десятки лет, их семейный врач и отец Колина. Вколочил что-то, и глаза Фрэнсис закрылись сами собой. Сколько она так проспала? Неизвестно. Она то возвращалась в реальность, слыша знакомые голоса, то проваливалась снова в забытие. Но вот она уловила голос мистера Беркинса, который просил родителей выйти из комнаты, а поднос с бульоном оставить здесь.

– Ты должна жить, Фрэнсис. Ради Колина должна дышать, – тихим голосом сказал мистер Беркинс. – И съешь этот бульон. Ради ребенка, Фрэнсис.

Она широко распахнула глаза, и первые, с того момента, как она узнала о смерти любимого, слезы потекли по исхудавшим бледным щекам.

– Я врач, Фрэнсис. Вот откуда я знаю, – ответил мистер Беркинс на ее немой вопрос. – Ты должна есть, ты должна жить. Нет. Не так. Ты обязана. Колин жив, пока живы воспоминания о нем. А кто будет о нем помнить, когда мы умрем?

Эти слова вернули Фрэнсис к жизни. Не к той цветущей жизни, полной планов и мечтаний, что была общей для Фрэнсис и Колина еще недавно. Нет. К жизни ради жизни. И не более того. Она делала все, что предписывал ей мистер Беркинс, все, что требовалось, чтобы по настоянию матери закончить последний год колледжа, все то, что требовал этикет вежливости. И ни на унцию больше. Она выходила в благоухающий сад, где раздавались нежные трели радующихся теплу и солнцу птиц, но не слышала ни ароматов, ни звуков. Она блестяще отвечала на экзаменах, но только потому, что зубрила материал, даже не вдаваясь в суть предмета. Она здоровалась со знакомыми, но всегда только в ответ, вежливо выслушивала ничего больше не значащие слова других, но каждый раз тяготилась любым общением, стремясь к уединению и покою. Она жила мертвой жизнью. Беременность теперь протекала бессимптомно, тошнота прошла, и головокружение тоже. Только бледность лица сохранилась, что заставляло мать Фрэнсис вызывать семейного врача раз в две недели.

– Когда ты собираешься им рассказать? – спросил мистер Беркинс. – Скоро скрывать станет совершенно невозможно, ты же сама это понимаешь.

Врач, теперь седой и ссутулившийся, задавал этот вопрос уже не в первый раз. Вопрос, на который Фрэнсис никак не находила ответа. Как сказать родителям, что она беременна? Родителям, таким безупречным, таким светским и таким чужим. Для матери это станет ударом. Ведь она была уверена в беспорочности отношений между Фрэнсис и Колином...

Мать никогда не говорила с Фрэнсис на темы отношений между мужчиной и женщиной, никогда не объясняла, откуда берутся дети, даже ничего не рассказала Фрэнсис о ежемесячных циклах. Обо всем этом Фрэнсис была вынуждена узнавать от своих одноклассниц, для которых мамы были лучшими подругами и советчицами. Как же Фрэнсис завидовала им и мечтала о таких же близких отношениях со своей матерью. Но этого так и не случилось. Даже на смертном одре ее мать была сдержанна и холодна.

Когда однажды утром еще совсем юная Фрэнсис проснулась в своей постели с ноющей болью внизу живота, а белые простыни были все в алых пятнах, она испуганно позвала мать. Мать вошла в комнату, заставила Фрэнсис подняться и принять теплый душ. Когда девочка, растерянная и испуганная, вышла из душа, то застала картину, которая запечатлелась в ее памяти, оставшись травмой на всю последующую жизнь. Мать с плохо скрываемым отвращением снимала испачканные простыни и бросала их на пол, как нечто до ужаса отвратительное. Затем она окинула замотанную в полотенце Фрэнсис с головы до ног таким взглядом, что та испытала ужасный стыд за то, что с ней произошло. Мать собрала простыни с пола и молча вышла. Но через пару минут вернулась, сунула в руку дочери отрезанный небольшой кусок простыни, сложенный в несколько слоев, и велела ей вложить это в трусики между ног. Фрэнсис выполнила все указания матери, ожидая, что теперь последует разговор, в котором та объяснит, что же все-таки случилось. Однако она уже закрывала за собой дверь.

Фрэнсис села на пол и притянула колени к подбородку, обхватив их руками. Живот страшно спазмировалось, ей хотелось выть от боли, но она боялась издать хоть малейший звук. В их семье негласно было запрещено плакать. Слезы дочери расстраивали нервы матери. Любое недовольство дочери выводило мать из себя, она либо начинала кричать, чтобы Фрэнсис закрыла свой рот немедленно, либо демонстративно отворачивалась и незамедлительно выходила прочь, громко хлопнув дверьми так, что даже стекла в оконных рамах начинали дрожать. Фрэнсис с малых лет уяснила, что иметь свое мнение и свои желания – опасно для атмосферы этого дома, и со временем научилась ничего не желать для себя и ни о чем не просить. Вот почему она молча скрючилась на полу с тряпкой между ног, испытывая невероятную боль, страх и обиду одновременно. Но особенно остро, сильнее даже невыносимой боли, она чувствовала свое одиночество.

Спустя час или два, окончательно замерзнув, сидя на дубовом паркете в одних трусиках, Фрэнсис с трудом поднялась на онемевшие ноги и медленно добралась до платяного шкафа. Несмотря на относительную обеспеченность их семьи, ее гардероб, в отличие от гардероба матери, был весьма скромным и простым. Четыре трикотажных платья простого кроя, одно теплое шерстяное, до ужаса колючее, строгая скучная форма с логотипом колледжа и вторая такая же на смену, несколько пар чулок – вот и весь незамысловатый выбор. Да еще две фланелевые пижамы с дурацкими рисунками в виде каких-то серых мышей и черных мух. Фрэнсис их терпеть не могла, а потому всегда ложилась в кровать голой.

Накрываясь неприятными на ощупь простынями, она мечтала однажды облачить свое стройное упругое тело в такой же невесомый пеньюар из дорогих французских кружев, как у матери, и зарыться в нежные шелковые простыни, какими была убрана материнская кровать. Но все, от трусиков до простыней, всю обстановку комнаты и даже физико-математический факультет для склонной к гуманитарным наукам Фрэнсис, мать выбирала самостоятельно, не интересуясь мнением дочери. Исключением являлся день рождения Фрэнсис, за неделю до этого мероприятия у нее всегда интересовались, чего она хочет, но никогда в итоге не дарили именно то, что она просила. Подарки были абсолютно бессмысленными, но всегда дорогими, выставленными напоказ для собравшихся в этот день гостей и на зависть приглашенным детям, половину из которых Фрэнсис терпеть не могла, другую вежливо терпела – однако ее ни разу не спросили, кого же она сама хотела бы пригласить на собственный день рождения. Душевное содержимое в этой семье никогда не ценилось, важен был только внешний блеск. Это Фрэнсис

тоже уяснила рано, смиряя любые порывы вдохновения, но тщательно исполняя все правила светского этикета.

Немного позже Фрэнсис начала глубоко колоть себя иглой для вышивки и делать небольшие порезы на ногах, чтобы убедиться в том, что она все еще жива. А еще позднее, уже когда родилась ее вторая нелюбимая дочь Анна, она поняла, что мать делала все, чтобы во Фрэнсис не развилась плотская чувственность и тонкость безупречного вкуса, любовь к красоте жизни в ее самых неуволнимых проявлениях. Мать видела в дочери соперницу, смутно понимая, что превращение девочки в женщину ее саму переведет из статуса молодящейся леди в разряд увядающих дам. А она так не желала стареть! Ведь старость – доказательство непрерывного движения жизни, а жизнь мать не любила, тщетно желая остановить время, заморозить свой образ цветущей женщины в кулуарах времени.

Увы. Еще никому этого не удавалось ни до нее, ни после. Однако в этом своем неумолимом стремлении она кое-чего все же добилась – а именно, искалечила жизнь дочери. Определила тяжелую судьбу будущей женщины, которую – по своему материнскому предназначению – обязана была максимально облегчить. И даже когда Фрэнсис буквально умирала от внутренней боли, потеряв любимую дочь от любимого мужчины, когда она встретилась с холодной жестокостью своего безразличного мужа и бежала в отчий дом от его насилия и издевательств (уже будучи беременной Анной и оттого особо уязвимой и беззащитной), даже тогда она не нашла для себя места в материнской душе, получив в назидание от той: «Мне никто не помог, и ты сама справишься».

И тогда Фрэнсис решила, что не у всех людей есть душа. Многие, похоже, живут без нее, и прекрасно обходятся. Она где-то читала, что душа весит двадцать один грамм: ровно на столько становится легче человек, испустивший последний вдох, и что это было научно доказано – тела на смертном одре умудрялись взвесить в последние мгновения жизни и затем сравнить показатели с теми, что получались сразу после смерти. Ровно двадцать один грамм. Что ж, похоже ее мать, которая могла ничего не есть целыми днями, а в другие дни тщательно следила за количеством съеденного или избавлялась от лишнего при помощи вызывания рвоты, чтобы всегда оставаться худой, и от своей души решила избавиться – как от чего-то, что делает ее бременное тело на двадцать один грамм тяжелее. Такое оправдание нашла для матери Фрэнсис, слыша раз за разом вместо слов ободряющей поддержки лишаящие последних сил упреки вечно недовольной ею матери.

Сейчас же девочка Фрэнсис, ставшая сегодня женщиной, но даже не узнавшая всей сокровенности произошедшего от той, кто должен был ввести ее в прекрасный мир женственности – от собственной матери, которая лишь наложила печать стыда на произошедшее с телом Фрэнсис этим утром, – выбрала надеть именно одну из этих страшных пижам, с противными мухами, уверенная, что теперь нужно скрывать это отвратительное «нечто» под соответствующим нарядом. Онемевшими пальцами она натянула на свои стройные бедра штаны, ставшие короткими за то время, что пылились в шкафу, и уже надевала на созревающие прекрасные высокие груди узкий верх детской пижамы, как в комнату снова вошла мать, даже не думая постучаться, кинула на кровать чистые простыни и молча удалилась. Это была еще одна особенность ее отношения к Фрэнсис – понятия личных границ дочери для матери не существовало. Она вторгалась в пространство Фрэнсис, как в свое собственное – расставляла вещи в ее комнате по собственному разумению, выворачивала содержимое карманов ее школьной формы и пальто, однажды даже перебрала все нижнее белье дочери, аккуратно сложенное в ящике комода, пока Фрэнсис была в колледже, и выбросила ее самые любимые трусики, из тончайшего шелка в обрамлении нежного кружева, которые из знаменитого дома моды Парижа привезла ей подруга.

Да, у Фрэнсис были и подруги, и друзья, несмотря на то что стараниями матери она всегда выглядела максимально скромно. Однако серые простецкие платья на гибкой фигурке, гладко

зачесанные в незамысловатую прическу золотые шелковые волосы, которые мать запрещала ей распускать на людях, грубая обувь на стройных ногах и полное отсутствие каких-либо украшений не мешало остальным разглядеть в ней тонкость натуры и нежность души. Всем, кроме матери и отца. Отца, который желал сына и так и не смог смириться с тем, что у него родилась дочь, отца, который не участвовал в жизни Фрэнсис и не замечал ее даже в их общем доме, – для него она была не более чем привидением, ошибкой судьбы, лишившей его наследника фамилии.

Фрэнсис всегда была очень деликатна к чувствам других. Зная, каково это, когда с тем, что творится у тебя внутри, даже не считаются, она каждый раз с уважением и тактом относилась к любым проявлениям окружающих ее людей. Поэтому никто не удивился, когда первый красавец кампуса и победитель международных учебных олимпиад, лидер идеалистического движения за свободу самовыражения, талантливый во всем, за что бы ни взялся, самый молодой в истории штата филантроп Колин Беркинс выбрал малышку Фрэнсис, неброскую, мало-словную, с большими умными и такими грустными глазами. Выбрал, кстати, вместо яркой, модной, манерной и уже вполне сформировавшейся сексуальной Кэтти, которая буквально висела у него на шее, уверенная в том, что любой предпочтет скрасить свое одиночество ее обществом. Несмотря на то что Колин был сыном простого, хоть и уважаемого многими семьями доктора, эта светская львица приняла во внимание, что юноша, помимо прочего, славился своим неординарным умом, смелыми решениями и бесстрашными действиями и в столь молодом возрасте являлся основателем крупного благотворительного фонда. Но все же он остановил свой взгляд не на Кэтти, а на Фрэнсис, которая покорила его исходившим от нее душевным теплом и трогательной беззащитностью.

Колин, любимец юных женщин, привык к вниманию толп красоток разных мастей, красоток, знавших себе цену и уверенно этот ценник демонстрировавших окружающему миру. Для их благосклонности ему не нужно было даже манить кого-то пальцем. Они, такие уверенные в себе, в своей неотразимости и в том, что этот мир им задолжал просто по факту их рождения, готовы были отдать все, что могли, за интерес этого удивительного баловня судьбы. Как же они удивились, когда ему, откровенно скучавшему в обществе этих ярких, но таких одинаковых охотниц, незамедлительно захотелось стать рыцарем для обладательницы тонкой, чувствительной, нежной и доброй женственности, какой он прежде еще не встречал.

Колин рос без матери... Как часто за богатства жизни приходится платить слишком дорогой ценой. У Колина действительно было все, о чем его сверстники могли только мечтать: ум, талант, популярность, доброе сердце, как у отца, и красота, доставшаяся ему от креолки-матери. Вот только мамы своей он не помнил, она скончалась, когда Колин был еще слишком мал, чтобы сохранить в памяти черты ее лица. Он знал о ней лишь из рассказов отца, который так больше и не женился после смерти любимой. Острая пневмония, свалившаяся на ослабленный родами и кормлением организм, стала роковой, в один миг поменяв жизни двух мужчин – почти большого и совсем маленького.

Родители Колина были еще второкурсниками, когда он у них родился. Оба учились на одном факультете искусствоведения; чувства между статным юношей и первой красавицей курса вспыхнули моментально. Ими любовался весь институт, их любовь была такой же красивой, какой она бывает только в романтических фильмах. Быть может, не прервись молодая жизнь так рано, эта любовь закончила бы свой век на земле вовсе не так романтично (хоть и трагично), а пошло и скучно, как часто случается в обычной жизни, когда двое однажды переходят все немыслимые границы и обесценивают прекрасное между ними, превращая дар неба в пепел воспоминаний, который будет развеян в бесконечности ветром времени. Однако любовь этих двух принесла свой плод. Колин был желанным ребенком, тем правильным «тре-

тым», который появляется, когда сосуды двух других наполнены любовью, что льется через край, когда возникает нужда в еще одном сосуде, который так же можно наполнить до краев – из избытка своих.

Колин оказался поистине плодом любви. Быть может, поэтому он был так всесторонне одарен и щедр – его сердце, наполненное до краев и больше, диктовало ему делиться с другими, теми покинутыми, кто был лишен любви с момента второй полоски на тесте, с первого самостоятельного вздоха. Фонд Колина «Ангелы» курировал брошенных матерями малышей: новорожденных покинутых крошек – невинные плоды чьей-то нелюбви... Да, как земля имеет противоположенные полюса, как монета обладает оборотной стороной, как палка бывает о двух концах, так рождаются плоды любви и плоды нелюбви. И Колин уяснил это очень рано, когда отец начал время от времени брать его с собой на дежурство в детскую больницу, куда – не проходило и недели – привозили какого-нибудь замерзшего малыша, из последних крохотных сил цепляющегося за жизнь. Или новорожденного со свежей пуповинной раной, которого, завернув в тряпки, выбросили в мусорный контейнер, а может, подбросили на порог больницы или оставили умирать где-нибудь в лесополосе. И лишь сосед, выносивший мусор, либо грибник, проходивший мимо, либо медперсонал, дежуривший в эту смену – в общем, кто-то услышал уже совсем слабый писк, или, наоборот, громкий плач, или наивное гуление (если малыш был до этого хотя бы накормлен и переодет), и жизнь ребенка не прервалась так жестоко. Но ведь сколько раз это гуление переходило в отчаянный крик, который вскоре превращался в хрип и спустя малое время затихал навсегда, если судьбоносный спаситель не проходил тем же путем.

А сколько детей было заживо закопано или задушено родными руками матери или хладнокровно расчленено отцом, решившим снять с себя ответственность за созданную жизнь? Колин знал и об этом, так как выброшенных, будто ненужный хлам, детей привозили в больницу полицейские. Вкратце рассказав о том, где и при каких обстоятельствах нашли очередного малыша, они непременно продолжали разговор с теми, кто готов был их слушать: «Это еще что, вот на днях...» И далее следовала история с разным началом, но всегда с одинаковым концом. Колин страдал, слыша все это.

Но в отличие от большинства взрослых, которые цокали языком, возмущались жестокостью убийц, а потом со спокойной душой возвращались к своим обыденным делам, больше не вспоминая об истории, которая не касалась их напрямую, Колин судорожно думал, что нужно предпринять, чтобы как можно меньше детей умирало такой страшной смертью. Он ходил в библиотеку и старался изучить все, что так или иначе касалось этой темы. Он читал отцовские газеты, в которых время от времени проскальзывала информация о подобных случаях. Но его цепкий взгляд так же заметил, что информация о найденных младенцах всегда располагалась где-нибудь на предпоследней странице в самом низу и была дана мелким шрифтом, в отличие от новостей на первых разворотах, где со всеми подробностями описывали, какой ресторан посетил наемный некий важный сэр, пэр или мэр, что он выбрал в меню и чем был фарширован краб, которым лакомился высокопоставленный муж. И тогда все карты сошлись. Колин понял: чтобы привлечь внимание к проблеме убийства новорожденных, нужно, чтобы об этом заговорил уважаемый рот. Тот самый, который поедает крабов и лобстеров – а общественность жадно пускает слюни и не теряет к новостям такого рода ненасытного интереса.

Тогда юноша и создал свой фонд «Ангелы». Документы пришлось оформить на отца, так как сам Колин к тому моменту, когда идея окончательно оформилась и превратилась в четкий план действий, едва достиг шестнадцати. Все остальное он делал сам. В свободное от учебы время брал телефон, газеты, на первых полосах которых то и дело мелькали одни и те же фамилии и имена, толстый телефонный справочник и начинал среди сотен тезок и однофамильцев искать именно тех, о ком половина печатных СМИ оповещала каждый понедельник и четверг, вторая же – по вторникам и в последний день рабочей недели, а отдельные особо продвинутые издания не жалели бумаги и каждый день, включая уик-энд. План был таков:

любыми способами выйти напрямую на «сытое лицо» или хотя бы назначить встречу через его секретаршу. Это было самым сложным; в успехе дальнейших действий Колин не сомневался, так как всецело полагался на свой талант убеждения, о котором ему не раз говорили многочисленные знакомые и коллеги отца.

Вечер за вечером Колин получал отказ за отказом. Иногда казалось, что вот-вот слишком серьезный голос на том конце провода смягчится и позволит ему прийти на встречу и рассказать все по существу. Но стена оказалась непробиваемой. И люди за той стеной благополучия были убеждены, что они – хозяева жизни, а хозяевам не пристало размениваться на такие пустяки. Время – деньги. А им предлагали не только потерять время, но еще и заплатить за это некую сумму вместо того, чтобы приумножить капитал. Один из них, Генри Стюарт, крупный промышленник, так и сказал Колину: «Молодой человек, как вас там, бросьте вы эту ерунду, не тратьте зря свои силы. Время – деньги, вот и занимайтесь тем, за что вам будут платить. Скажем, идите работать официантом в «Континенталь», кто-то же должен вовремя убирать за мной грязные тарелки, нынешние официанты там такие нерасторопные. Я ясно изъясняюсь?» В трубке послышались короткие гудки. Колин проглотил горький ком разочарования. Неужели эти люди никогда не слышали о маятнике жизни? Неужели совсем ничего? Или, быть может, сильных мира сего этот закон не касается?

Но закон жизни для всех един. И Колин в этом очень скоро убедился.

Однажды вечером он, почти разочаровавшийся в своей затее, сидел в кабинете отца и разбирал, по обыкновению, больничные карты вновь поступивших пациентов по тяжести их состояния – так отцу было удобнее с утра, после ночного дежурства, совершать обход, начиная с самых сложных и неотложных случаев. И вот на одной из карт с пометкой «крайне тяжелый» Колин увидел знакомую фамилию – Стюарт. Сначала он не придал этому особого значения и положил карту к историям болезни остальных тяжелых пациентов. Мало ли Стюартов в их штате – довольно распространенная фамилия. Но что-то все же заставило его к ней вернуться. Колин прочел: «Стив Стюарт, 15 лет, открытая черепно-мозговая травма, оскольчатый перелом левой большеберцовой кости, перелом со смещением левой ключицы, разрыв селезенки». Внизу было приписано отцовским почерком: «ДТП на скутере без шлема и защиты». Сердце Колина забило чаще. Он медленно перевел взгляд на графу «родители». Ошибки быть не могло. В строке «отец ребенка» значилось: Генри Стюарт.

В этот самый момент дверь распахнулась и в кабинет вошел отец, а за ним следовал мужчина с выражением детской беспомощности на лице.

– Любая сумма, доктор, назовите любую сумму. Только спасите моего мальчика!

– Еще раз повторяю вам: я не Господь Бог, а если бы и был им, ваши деньги остались бы такими же бессмысленными бумажками, как и сейчас для меня, обычного смертного. Мы делаем все возможное, чтобы спасти его. Поймите, если бы он хоть в шлеме был, возможно, таких последствий удалось бы избежать. Но он оказался без него. И никакие деньги мира не помогут вам повернуть время вспять и надеть ему этот злополучный шлем на голову.

Колин сразу узнал этот голос. «Как интересно, – подумал он. – Они говорят: время – деньги, но за деньги не могут купить это самое время. Быть может, время – нечто большее, чем просто деньги. Быть может, время – сама жизнь».

– Это я во всем виноват. – Мужчина тяжело опустился на стул. – Сказал ему, что всякие его танцы – ерунда для девчонок, за которую ничего не заплатят. Велел, чтобы он занялся чем-то серьезным, что приносит деньги: например, выучился на юриста. Он выбежал из дома в слезах. Я думал переберется и вернется, а потом позвонили из больницы...

В этот момент дверь кабинета снова открылась и мистера Беркинса срочно вызвали в приемный покой к очередному поступившему ребенку.

Все это время Колин тихо сидел за столом отца, незамеченный за кипой карточек.

Генри Стюарт опустил голову, замерев в той позе, которую Колина уже не раз приходилось наблюдать в холле больницы – позе поверженного жестокой жизнью человека. «Жестокой или справедливой?» – пронеслось в голове у юноши. Он встал и подошел к Генри Стюарту, сочувственно тронул его за плечо. Тот вздрогнул и поднял на Колина красные от слез глаза.

– Кто вы? – спросил он дрогнувшим голосом. Он взглянул на Колина в упор. – Впрочем, не важно, я вижу, ты ровесник моего сына, и я хочу тебе сказать то, что должен был сказать ему: следуй туда, куда ведет твое сердце, и никого не слушай.

Как не похож был этот сторбленный мужчина на самодовольного господина, смотревшего на Колина пару недель назад с фотографии на первом развороте газеты. Сколько боли звучало в голосе того, кто совсем недавно считал себя неуязвимым.

– Я Колин Беркинс, мистер Стюарт.

– Беркинс? Так ты сын лечащего врача моего Стива? – Генри Стюарт схватил дрожащими пальцами руку Колина. – Ради всего святого, мальчик, уговори своего отца взять эти чертовы деньги. Он не хочет даже слышать об этом. Говорит, что деньги ничего не решат. Но поверь мне, мальчик, я столько раз в итоге покупал то, что мне изначально отказывались продавать. Все дело в цене. В конце концов я платил им такие суммы, которые стирали все их принципы, делали матерей понравившихся мне молодых девчонок слепыми, а их отцов – глухими. Понимаешь? Родители продавали мне то, что двумя нолями назад называли самым дорогим в жизни и бесценным. Нет, мой мальчик, у всех в этом мире есть цена. Теперь и я хочу выкупить своего сына у смерти. Скажи! Скажи своему отцу, что я готов заплатить любую сумму, какую он назовет, а потом умножить ее на три и заплатить еще раз, когда мой сын встанет на ноги! Скажи ему! Скажи!

Генри Стюарт кричал так громко, что в кабинет ворвались два медбрата, с трудом высвободили Колина из трясущихся рук обезумевшего от горя и бессилия мужчины, скрутили его и поволокли вон из кабинета. А он все кричал:

– Скажи ему! Скажи! Скажи!

Потом все смолкло.

Колин все еще не двигался с места, пораженный тем, что произошло. Нет, не тем безумием, которое захлестнуло Генри Стюарта. Он уже не раз был свидетелем того, как принимают родители весть о смерти своего ребенка. Колин видел и не такое: матерей, вырывающих себе волосы на голове, или их безмолвные обмороки, отцов, крушащих стены больницы, сбивающих кулаки в кровь, он слышал нечеловеческий пронзительный крик боли от потери, который никогда не сможет забыть. Но нет. Его поразила уверенность этого мужчины в том, что жизнь можно купить, как покупают свежее мясо на рынках. Генри Стюарт был втрое старше самого Колина и богаче в миллионы раз, но при этом – на порядок глупее и абсолютно нищ духом. Жизнь купить невозможно – это знали женщины, которые никак не могли забеременеть или то и дело теряли плод, это знали больные раком, у кого болезнь дала о себе знать слишком поздно, знал это и Колин, потерявший однажды свою мать. Колину захотелось догнать этого странного человека, заглянуть ему в глаза и сказать, что у жизни действительно нет цены. Есть цена у совести, есть цена у принципов, есть цена у нужды. А у жизни ее никогда не было! И в этот момент дверь распахнулась и в кабинет вбежал перепуганный отец.

– Колин! – Он подскочил к сыну. – Мальчик мой, с тобой все в порядке?

Мистер Беркинс начал по врачебной привычке осматривать сына.

– Да-да, папа, со мной все нормально. – Колин взял руки отца, которыми тот ощупывал сына, в свои. – Все нормально, ничего такого не произошло.

– Но мне сказали, что на тебя напал этот сумасшедший! – Мистер Беркинс продолжал оглядывать сына, чтобы точно убедиться, что тот невредим.

– Нет, папа, на меня никто не нападал, тебе действительно не о чем беспокоиться. – Колин ободряюще улыбнулся отцу и выпустил его руки.

Мистер Беркинс устало опустил на стул, на котором несколькими минутами ранее сидел Генри Стюарт.

– Ребята сказали мне, что он вцепился в тебя, как взбесившийся бульдог!

– Ребята немного преувеличивают, папа, хотя я им, несомненно, благодарен за то, что они смогли разжать челюсть этому бульдогу.

– Так он все же сделал тебе больно? – Отец подскочил было со стула, но Колин мягким движением усадил его обратно.

– Я же говорю, папа, со мной все хорошо. Мне приятна твоя забота, но волноваться абсолютно не о чем. Я бы сказал тебе, если б что-то пошло не так, ты же знаешь.

Это было правдой. Колин всегда делился с внимательным отцом всем, что с ним происходило.

– Хорошо, мой мальчик. Да, действительно, ты никогда не давал мне повода думать, что говоришь неправду. – Мистер Беркинс наконец немного расслабился. – Просто я так испугался за тебя! Этот Стюарт успокоился только после того, как ему вкололи двойную дозу галопери-дола! Но что на него нашло?

– Ничего такого, папа, что не находит на остальных отчаявшихся. Как его сын, Стив, кажется? – Колин решил понять, сможет ли реализовать план, который пришел ему минутой ранее в голову.

– Да, Стив Стюарт, твой ровесник. Он сейчас в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Прогнозировать что-либо пока рано, но парень он, кажется, крепкий. Обычно в таких авариях бригаде, прибывшей на вызов, остается только констатировать смерть, а этот боец просто в рубашке родился. И одно то, что он все еще жив – уже большая удача. Но этот Генри Стюарт не в курсе статистики. У него своя математика в голове. Он сует мне свои бумажки и хочет, чтобы я обменял их ему на здорового сына. На здорового! Да тут надежда на то, что он придет в себя, крайне призрачна. Но разве объяснишь.

Мистер Беркинс устало махнул рукой. Пару секунд помолчал, затем продолжил:

– Сколько их тут было таких уже. Готовых продать душу дьяволу, лишь бы вытащить своего ребенка с того света. А я скажу так: большинство из них не замечает *жизни* этих же детей, крутящихся под ногами, и одна только смерть заставляет людей вспомнить, что они были родителями. Поглощенные повседневными заботами, они переступают через скромные просьбы и маленькие достижения своих детей, считая это сущим пустяком на фоне такой непустячной взрослой жизни. Жизни ли? А потом удивляются: что за выросшие чужие люди живут рядом с ними? Неблагодарное поколение, не уважающее родителей. Будто уважение – это то, что выдается по умолчанию в комплекте с ребенком при его рождении, или будто благодарность – встроенная функция нового человека, которого они приводят в этот мир. При этом они не считают нужным уважать желания и потребности ребенка, никогда сами не благодарят детей за радость быть их родителями. Нет! Малышей они полагают неразумными существами, которых вечно нужно чему-то учить, подростки для них – полное разочарование и крах несбывшихся надежд, а на взрослых детей они вешают неподъемный груз вины и чувство неоплатного долга за то, что потратили на них свои годы жизни. Им бы дать возможность ребенку проявиться в этом мире, а подростку – познать свободу в поиске предназначения. Для тех же, кто как раз входит в непростую взрослую жизнь, – оставаться добрым родителем до конца собственных дней; в любую сложную минуту принимать их в свой душевный дом, разделяя боль утрат и разочарований, отогревая замерзших и заблудших безусловной родительской любовью, не дав сломаться, очерстветь, умереть. Но вместо этого они становятся ребенку надзирателем, подростку – судьей, а взрослому – палачом. И потом удивляются, что смотрят в пустые глаза своих «зеркал» и не находят сострадания своей немощи. Да, дети – это родительские зеркала,

а их отношение к родителям – не более чем взаимность. И да, уважение нужно заслужить. А служить детству надо достойно, чтобы потом рассчитывать в старости на пресловутый стакан воды.

Он замолчал, то ли, устав от собственной эмоциональной речи, то ли задумавшись о том, подаст ли Колин стакан воды ему самому.

– Возьми эти деньги, отец.

– Что? – Мистер Беркинс вышел из задумчивого состояния.

– Я говорю, возьми эти деньги у Генри Стюарта, папа.

– Колин, мальчик мой, что ты имеешь в виду? – Мистер Беркинс не мог поверить своим ушам.

– Ничего такого, папа, что ты не смог бы понять. Возьми эти деньги у него. И мы купим на них не одну жизнь, просто поверь мне.

– Но Колин... – Он хотел что-то сказать, но сын перебил его:

– Дослушай меня до конца, пожалуйста. И я уверен, что в итоге ты согласишься с тем, что я хочу тебе предложить. Я всегда прислушивался к тебе и теперь надеюсь на взаимность. Я тоже не разделяю многих взглядов этого человека, но не нам его судить. Однако кое в чем он действительно прав – мы можем вырвать из логова смерти не одну жизнь за те суммы, что он готов предложить. Ты возьмешь у него деньги, а я вложу их в наш фонд, силами которого мы воплотим мою идею в реальность. Я давно уже продумал все до мелочей, но для реализации не хватало последнего штриха, а именно – инвестиций. Сейчас я все тебе расскажу.

Колин придвинул другой стул и сел напротив отца.

– Прямо напротив черного хода больницы есть пустующее здание. Я узнал, что раньше там был магазин редких книг, но его хозяин, как оказалось, улетел в Тибет просветляться и поручил своему агенту сдать помещение в аренду.

– Старик Гилберт улетел в Тибет? Ну и ну. А я все думал, куда он пропал. Решил, что переехал в район потише, здесь в центре всегда такое движение. Хотя эту улицу все же не назовешь оживленной. Знаешь, а ведь мне пару раз посчастливилось приобрести у него бумажные «бриллианты мысли» практически за бесценок, да-а-а... Ладно, продолжай, Колин, я весь внимание.

– Спасибо, папа. Так вот, как ты правильно заметил, улица здесь совсем не оживленная, хоть и примыкает к центральной части города. И это очень важно. Сейчас ты поймешь почему. Я выяснил сумму аренды сразу за пять лет с правом дальнейшей пролонгации. Оказалось, несмотря на то, что это центр, стоимость сравнима с отдаленными районами именно потому, что улица не проходная, а значит вести здесь, скажем, торговлю не слишком выгодно. Риелтор сказал, что у него интересовались этим помещением, кто-то подумывал открыть здесь аптечный пункт, но быстро отказался от своей идеи, так как выяснилось, что вокруг больницы уже и так порядка девяти аптек, две из которых откровенно демпингуют. Не слишком выгодным получился бы бизнес, скажу я тебе.

Мистер Беркинс смотрел на сына с нескрываемой гордостью. Много ли подростков в свои шестнадцать интересуются такими вопросами? Хотя чем сильнее Колин углублялся в описание своего плана, тем больше недоумения примешивалось к отцовскому чувству. Мистер Беркинс никак не мог понять, когда его сын успел так духовно вырасти.

– И я понял, отец, что это мой шанс, – продолжил Колин, – что теперь пазл сошелся: недорогая аренда, центральная часть города, до которой несложно добираться, детская больница и центральный родильный дом через дорогу. А здесь, на заднем дворе, эта тихая улочка, по которой можно пройти днем и спокойно остаться незамеченным – что будет очень важно для тех, кто захочет прийти сюда инкогнито и так же инкогнито уйти. И именно здесь мы откроем «окно жизни», отец. И спасем сотни невинных душ.

– Окно жизни? Но что это? Я никогда раньше не слышал ничего подобного.

– Пойдем, я покажу тебе, что имею в виду.

Мистер Беркинс взглянул на часы. Рабочий день давно закончился, но такой уж это был человек – он не уходил домой сразу, как только его сменял коллега. Сначала ему требовалось убедиться, что никто из его маленьких пациентов сегодня больше в нем не нуждается. Глубоко уважающие его коллеги из разных отделений больницы стекались к нему, раз за разом умоляя ознакомиться с делом того или иного больного, зная, что даже в случае, когда надежда уже практически потеряна, мистер Беркинс, вероятнее всего, подарит веру в то, что все будет хорошо. И он еще ни разу не обманул. И ни разу не отказал, кем бы ни был этот пациент – совсем малышом нескольких дней от роду или тем, кто уже одной ногой вступил во взрослую жизнь. Другие доктора, заходя в палату, каждый раз ориентировались по записям из карточек больных, по номерам палат и коек, сухо интересуясь, есть ли какие жалобы и отмечая сказанное на листах; порой даже не поднимали на ребенка глаз, сразу переходя к следующему. Мистеру Беркинсу такое даже в голову бы не пришло. Он знал, что его ждут скучающие в больничных стенах юные пациенты: кто-то с надеждой, что его отпустят домой, кто-то со страхом перед грядущими неприятными процедурами, кто-то просто с желанием услышать доброе слово.

Так что он открывал дверь присаживался к каждому по очереди на койку, откладывал карту больного в сторону и, пожимая руку, говорил что-то вроде: «Ну что, Дейв, поздравляю. Твоя печенка больше не собирается перерастить тебя самого, чтобы захватить твое тело в плен. Кажется, нам удалось с ней договориться, правда, на некоторых не слишком выгодных для тебя условиях. Но ты только послушай, какие требования выдвинуты нам на этот раз: она обещает вернуть тебе право властвовать над собственным телом, если ты прекратишь пичкать ее сладкой газировкой и двойными бургерами. Сегодня ночью, пока ты спал, она постучалась в мой кабинет и, удобно устроившись напротив, сообщила мне, что если ты не начнешь ежедневно радовать ее свежей морковью, сладким горошком и вареной брокколи, то в следующий раз она не будет расположена вступать в диалог с кем бы то ни было и заставит тебя это делать так или иначе, но уже через пожизненное принудительное служение ей. Так что, Дейв, сдастся мне, нам следует прислушаться к ней в этот раз, или в следующий я уже ничем не смогу тебе помочь. Что скажешь, мой друг?» Или, допустим: «Эй, Брэдли, ты когда-нибудь слышал французский хип-хоп? Нет? О, друг, ты просто обязан его послушать в ближайшее время, чтобы я мог тебе наконец объяснить, чего я хочу от твоего сердца. А я хочу, чтобы оно билось так же четко, как четок речитатив этих ребят. Обещаешь мне во что бы то ни стало познакомиться с этой культурой в ближайшие пару дней? Заметано! Ну все, Брэдли, аревуар!»

Совсем маленьких детей мистер Беркинс умел по-особенному взять на руки – личиком вниз под углом сорок пять градусов, – и те моментально успокаивались, хотя до этого душераздирающий крик младенца разносился по всему отделению и ни одна опытная многолетняя медсестра была не в силах его утихомирить. Для деток постарше у него наготове были безглютеновые леденцы и пара веселых загадок.

Сложнее всех ему давались подростки. Но он стремился снискать доверие и у этих сложных натур, стоящих некрепкими ногами одновременно в разных мирах. Он понимал их боль и их страх. Сам помнил то время, когда строгие правила и общие принципы, на которых строилась доверчивая детская жизнь, рассеивались один за другим в свете жизни новой, пока еще лишь призрачными намеками манившей в неизвестность. Время, когда кумиры и идеалы на глазах превращались в человеческую труху и праздный тлен, а новые горизонты заставляли раз за разом делать выбор, в любую секунду могущий стать роковым; когда то, что доставляло удовольствие раньше, теперь высмеивалось сверстниками, а то, что могло доставить удовольствие сейчас, порицалось взрослыми. Время, когда хотелось укрыться от всего этого безумия под темными одеждами и безмолвием. Именно тогда фраза «свой среди чужих, чужой среди

своих» обрела четкий смысл. И мистер Беркинс умел стать тем чужим, в обществе которого подросток мог почувствовать себя своим. И довериться.

Все это было сродни искусству. А к искусству мистер Беркинс тяготел с малых лет. Он и факультет выбрал по душе. Однако потрясение, испытанное им после смерти жены, то невыносимое чувство собственной беспомощности, когда ты не в силах помочь умирающему у тебя на руках любимому человеку, та убивающая покорность, с которой ты должен смириться с приговором врачей (а изменить ничего не можешь, потому что у тебя нет ни подходящих знаний, ни уверенной практики), заставило его кардинально поменять направление собственной жизни. Какими бессмысленными показались ему все эти разговоры о высоком искусстве, о воплощении божественного таланта с помощью красок, нот и алфавита в тот момент, когда никто не смог спасти венец всего мироздания, творение, созданное по образу и подобию высших сил... И тогда, кидая горсть сырой земли на крышку гроба своей женщины, он принял решение стать врачом.

Возможно, именно поэтому он и стал лучшим доктором этой местности: когда другие опускали руки и смирялись с тем, что пациенту уже ничем не помочь, мистер Беркинс не позволял себе сдаваться. Он отвергал любые стандартные подходы и дежурные фразы своих коллег, он изучал, анализировал, экспериментировал, рисковал – и в большинстве случаев выходил победителем с вернувшимся с того света пациентом. Он потерял три рабочих места, в частности из-за того, что шел вразрез с инструкциями и больничными правилами. А еще потому, что пациенты, которые должны были благодарить медика за новый день рождения, ругались на него за потерянное здоровье. Те самые, кто перенес инсульт, но при этом в перерывах между восстанавливающими процедурами дымил дешевым табаком. Или те, кого еле-еле откачали после инсулинового шока, а они снова пропускали приемы пищи, потому что не привыкли к элементарному режиму и заботе о себе. Люди с кольцом на желудке демонстративно поедали диетический протертый суп, однако украдкой закидывали в себя пару-тройку бургеров, принесенных заботливыми родственниками. А те, кто едва оправился после инфаркта, малодушно намазывали шоколадное масло на свежую сдобу и, отправляя все это в рот, запивали крепким дешевым чаем с непременно тремя ложками сахара. Но потом, конечно, кляли врачей за халатность и нанесенный таблетками вред. В какой-то момент мистер Беркинс устал наблюдать, как люди, идущие на поводу у собственных страстей, хотят, чтобы другие отвечали за последствия их собственного выбора. Ему осточертели эти безвольные марионетки, управляемые рекламой, шуршащими обертками и глутаматом натрия.

И тогда он ушел в педиатрию. По крайней мере, в детском мире ответственность за случившееся всегда несут взрослые. Наконец-то мистер Беркинс отвечал по справедливости. К тому же Колин подрастал, и отец хотел лично заниматься и здоровьем сына, и его болезнями. Однако Колин рос крепким и умным мальчиком, не доставляя особых хлопот.

Отец и сын покинули кабинет, прошли по безлюдному коридору – как раз наступил тихий час, – спустились по ступеням узкой лестницы и вышли через черный ход. Двор был так же пуст. Это во взрослых больницах пациенты позволяют себе роскошь нарушать любые запреты, так как несут ответственность за собственную жизнь лишь перед собой, хоть зачастую и пытаются бессмысленно переложить ее на государство, медицину или Бога. А дети всецело подчинены системе взрослых. И в этой больнице взрослые – осознанные. Поэтому тихий час здесь означает тихий час, и ничего кроме.

Миновав беседку, колоритно обвитую красным плющом (что делало сидящих внутри нее неприметными для глаз окружающих), они зашагали по дорожке, выложенной желтой брусчаткой, по краям которой заботливыми руками были высажены настурции и фиалки. Гуляющие – в положенное время – дети любили украдкой срывать и приносить их себе в палату. По настоянию мистера Беркинса детей никогда не ругали за такие проделки, хотя плакаты с

правилами поведения во дворе, висевшие на специальном стенде, изображали в том числе и плачущий цветок, с корнями вырванный детской рукой, – все это красноречивое художество было перечеркнуто крест-накрест красным, а под ним крупными буквами выведено для детей постарше, которые уже могли прочитать: «Цветы не рвать!» Но ведь их стремление было таким естественным – окружить себя чем-то прекрасным там, где временно оказался дом. Это только взрослые – если уж случилась такая ситуация, что приходится жить не в тех условиях, в каких хотелось бы, – пытаются не замечать реальности, мечтают каждый день о другом и к другому стремятся; тогда как жизнь их проходит вот здесь, среди старого ненужного хлама, от которого давно пора избавиться (и задышится легче!). Проходит за спешным обедом из некрасивых тарелок от разных наборов, с трещинами, сквозь которые утекает счастье проживать каждый день красиво; за бездумным просматриванием ежедневной лжи под названием «новости»; за сверхурочными часами на опостылевшей работе, потому что никак не набраться смелости сказать «нет» начальнику и коллегам, да и самой работе – зато дома смелости предостаточно, чтобы отказать близким в любой просьбе или сровнять их словами с землей. Да, дети знают, что такое жизнь, тогда как взрослые давно забыли, хотя и думают, что учат этой жизни детей. Увы, большинство взрослых учит детей не тому, как жить, а тому, как умирать.

– Смотри, отец. – Колин показал на старое здание – некогда пристанище редких книг, располагавшееся на другой стороне больничного двора, в тени вековых деревьев, чудом выживших в самом центре огромного мегаполиса.

Слева от входных дверей находилось окно. А к двери вели три широких, гранитных ступени, потрескавшихся от времени и тысяч ступавших по ним ног. «Три ступени до права на жизнь», – подумал Колин, когда впервые увидел это здание и твердо решил во что бы то ни стало организовать здесь приют.

– Это то самое «окно жизни», о котором я тебе говорил. Оно всегда будет открыто для тех, кто по каким-либо причинам не может оставить себе уже родившегося ребенка, но имеет сострадание к нему. Загляни туда. – Колин достал платок и протер им небольшой кусок окна, грязного от прибитой дождем пыли. – Видишь широкий подоконник внутри?

Просматривалось помещение довольно плохо, но все же очертания старинного деревянного подоконника с облупленной белой краской при желании можно было разглядеть.

– Да, что-то вижу, – ответил мистер Беркинс, прижимаясь лбом к стеклу.

– Правда, идеально? Через это окно ребенка, хоть в люльке, хоть в корзине, смогут ставить прямо на подоконник. Да хоть в ящике из-под апельсинов! Помнишь, как нам тогда подкинули на порог больницы перед Рождеством?

– Конечно помню. Еле откачали малыша, еще бы немного, и замерз. Ему даже не догадались подстелить какую-нибудь солому, кинули в одной рваной промокшей пеленке в этот ящик и оставили на холодных ступенях.

Разволновавшись, мистер Беркинс вытер лоб платком с вышитыми на нем инициалами. Платок был уже старый, в пятнах времени, но ни на какой другой он бы его не променял, даже на изделие из тончайшего шелка с золотой окантовкой – ведь буквы «Т» и «Б» когда-то любовно вывела рука Маргарет, единственной женщины всей его жизни, мамы Колина. Он спрятал платок обратно в нагрудный карман. Вздохнул:

– Однако мы были благодарны и за это: его хоть не выкинули, как старый хлам, на мусорку. Кстати, я говорил тебе, что прямо из больницы ребенка забрала новая семья? Они назвали его Микаэль. Я потом ради интереса глянул в книгу значения имен, которую, между прочим, купил прямо здесь, в магазине старика Гилберта... послушай, ведь точно, она стояла как раз на этом самом подоконнике, среди древних мифов, сложной теософии и старинных трактатов таро... так вот, оказалось, «Микаэль» означает «подобен Богу». А имя, как говорится в той книге, определяет судьбу.

– Нет, ты не рассказывал. Но эта история придает мне еще больше сил, чтобы довести начатое до конца. Папа! – В порыве эмоций Колин крепко схватил ладонь отца и прижал к груди. – Я прошу тебя, папа, возьми деньги у мистера Стюарта, они нам очень нужны! Ты только посмотри, я уже все придумал!

Он выпустил его руку и в потоке нахлынувшего вдохновения принялся показывать то влево, то вправо, то вверх, а отец любовался им, своим взрослым ребенком, и к глазам невольно подступали слезы счастья. Он думал о том, как Маргарет гордилась бы их общим сыном, их «крошкой Колином» сейчас.

– Вот здесь мы установим дверной звонок, – говорил Колин, – чтобы тот, кто принес новорожденного, мог оповестить нас и уйти, а малыш сразу оказался бы в безопасности; здесь повесим табличку, на ней будет надпись вроде: «Спасая других, ты спасаешь себя»; а вот там... Папа, почему ты молчишь?

– Я возьму деньги у Генри Стюарта, Колин.

\* \* \*

*«И зачем только я согласилась выйти за этого Скритчера», – написала Фрэнсис в своем дневнике, безмолвном друге, который внимательно слушал, не задавал неудобных вопросов и никогда не вываливал в ответ гору личных проблем.*

Чернила почти закончились, поэтому к некоторым буквам приходилось возвращаться и обводить их заново, но встать и пойти за другой ручкой не было никаких сил: токсикоз от новой беременности мучил Фрэнсис невыносимо, уже несколько дней она почти ничего не ела, а то, что удавалось в себя запихнуть, совершенно не хотело там задерживаться. Усталость лежала на ней тяжелым камнем, но когда девушка писала, на душе становилось немного легче, поэтому она продолжила:

*«С первого дня нашего знакомства мне было понятно, что это за человек, сколько в нем низости и мелочности. Зачем только я послушалась мать? Почему сразу не поняла, что под своей тревогой за мою судьбу она скрывала лишь желание поскорее избавиться от меня, как от позора семьи, отправив замуж за этого неприятного человека? Впрочем, мне действительно было все равно, куда двигаться и что делать после того, как погиб мой Колин; одна только мысль о маленькой Бэтти держала меня на этом свете. Но я совершенно не хотела, чтобы моя малышка видела свою маму каждый день в слезах, истерзанную этим человеком, который не позволяет мне и слова сказать, каждый раз напоминая о том, что взял меня уже, как он выражается, «брюхатую», а я, тварь неблагодарная, не кланяюсь в ноги ему и его матушке за их безмерную доброту. Как же я устала от них от всех. Почему моя жизнь складывается так, что мне все время приходится жить с людьми, лишенными даже толики душевности? Сначала мои мать и отец, теперь этот человек со своей матушкой... А с людьми, полными благородства и чистоты намерений, жизнь разлучает меня очень скоро и навсегда. Хорошо, что у меня есть Бэтти, ее волшебный смех, ее нежные маленькие ручки и огромные голубые глаза, полные доверия и любви. Когда она смотрит на меня, мне кажется, будто Колин жив, он здесь, рядом и никогда не покидал меня. Любовь не умирает с человеком, которого мы любили. Теперь я это точно знаю. Любовь к Колину исчезнет лишь тогда, когда исчезну я».*

Внезапно Фрэнсис обнаружила, что плачет – воспоминания яркой картинкой настигли ее снова. Она не была на похоронах Колина, поэтому запомнила его живым. Ей рассказывали потом, что туда пришел почти весь колледж, все было организовано по высшему разряду лучшим другом Колина Стивом Стюартом, сыном того самого Генри Стюарта, который стал

мecenатом и поручителем благотворительного фонда «Ангелы» и благодаря которому «окно жизни» спасло тысячи детей, а теперь спасает миллионы, распространившись по всему миру. В каждой цивилизованной стране одно за другим открываются «окна жизни», и мечта одного доброго мальчика передается дальше из сердца в сердце, даря каждому новорожденному законный шанс.

*«Бэтти и сегодня не увидит моих слез. – Фрэнсис насухо вытерла глаза и продолжила писать в дневник: – Вчера к нам зашла Стелла, мать Скритчера, как всегда без приглашения. Они о чем-то долго спорили в гостиной, пока мы с Бэтти играли здесь в лото. Я почти не встаю последние два дня, играю с малышкой прямо лежа в кровати, но ей нравится – ей вообще все доставляет удовольствие, моей любимой хохотушке. Как бы хотелось уберечь ее от всех тягот и сохранить в ней это умение любить жизнь во всех ее проявлениях... Потом Скритчер с матерью вошли в мою комнату; она, надменно оценив обстановку, сказала, что собирается завтра забрать Бэтти на прогулку. И добавила в своей обычной манере: «Ребенку нужен свежий воздух, в этом склепе у нее испортится цвет лица». Я одновременно и удивилась, и была рада такому неожиданному предложению – Бэтти действительно не выходила из дома уже два дня, а я точно понимала, что и сегодня у меня не будет сил встать с постели. Наверное, мой цвет лица совсем уж испорчен, раз свекровь снизила до предложения своей помощи. Возможно, все же есть и в этих людях капля добра и толика сострадания».*

Фрэнсис улыбнулась последней написанной фразе, закрыла дневник и решила немного вздремнуть; до возвращения Бэтти оставалось еще два часа, она очень хотела, чтобы дочь застала ее свежей и отдохнувшей.

Как же она жестоко ошиблась. Когда Фрэнсис проснулась, за окном было уже темно и комнату заливал лунный свет. «Полнолуние, как в тот вечер, когда мы должны были пойти с Колином в кино...» – промелькнула в голове мысль, и тут же холодный ужас охватил все ее тело. Бэтти! Где Бэтти? Кровать дочери была пуста. Фрэнсис вскочила на ноги, к горлу немедленно подступила тошнота, голова предательски закружилась, а перед глазами все поплыло. Схватившись за спинку кресла, она еле удержалась на месте.

Фрэнсис призвала всю свою волю, лишь бы не упасть. Нет, только не сейчас! Она больно ущипнула себя за запястье, чтобы сконцентрироваться. Боль и раньше помогала ей справляться в тяжелейших ситуациях, когда бремя грозило раздавить ее хрупкий мир.

– Бэтти! – крикнула она в темноту, едва справившись с тошнотой. Ответа не последовало. – Скритчер! – И опять тишина.

Стараясь унять панику, Фрэнсис сделала несколько глубоких вдохов. Комната почти перестала вращаться, предметы начали обретать четкие очертания. Фрэнсис постаралась сосредоточить на чем-то свой взгляд. Кровать Бэтти: нежно-розовый балдахин; подушка, которую девочка любила обнимать перед тем, как положить на нее головку; легкое одеяло – она то и дело скидывала его с себя во сне; шелковая пижама, именно такая, о какой все детство мечтала Фрэнсис. Все было на месте. Все, кроме самой Бэтти.

Головокружение наконец ослабло, Фрэнсис отпустила спинку кресла и сделала шаг в сторону, чтобы проверить себя на прочность. Тело было предательски слабо, но ноги уже подчинялись ее воле. Фрэнсис медленно дошла до дверей их с Бэтти общей спальни. Открыла ее. Коридор оказался так же мрачен и пуст.

– Бэтти, Скритчер! – Фрэнсис предприняла еще одну попытку.

Ничего. Дом никогда прежде не был так тих. Фрэнсис добралась до телефона. В то время телефон в доме все еще был редкостью, позволить его себе могли лишь состоятельные семьи. Скритчер установил аппарат лишь для того, чтобы не утруждать матушку ежедневными походами к нему в дом. Однако знать, как дела у сына, она хотела каждый день, ведь, по ее словам,

в этом и заключался «священный материнский долг». Возможно даже, она удивилась бы, если бы кто-то ей сказал, что такое поведение – не более чем властный контроль. Фрэнсис сняла трубку и попросила оператора соединить ее с домом Стеллы.

– Соединяю, – послышалось в ответ, и снова повисла тишина, казалось, длившаяся вечность.

В душе у нее все еще теплилась надежда на то, что Бэтти просто заигралась и уснула, а ее не стали будить и уложили на ночь в том доме, или, быть может, решили дать Фрэнсис хорошо отдохнуть, чтобы та пришла в себя и у нее появились ресурсы на искреннюю улыбку для дочери, а не ту жалкую вымученную пародию, которую только и могла подарить изможденная девушка в последние дни. Но в голове бил неумолчный набат, возвещающий о беде: случилось непоправимое, случилось непоправимое, случилось...

Наконец в трубке послышался голос. То, что услышала Фрэнсис, лишило ее оставшихся сил.

– Бэтти... – последнее, что она прошептала перед тем, как потерять сознание.

Все, чего теперь Фрэнсис хотела – смотреть на белые стены палаты, не моргая, до тех пор, пока они не превратятся в черную бесконечность. Ее девочки больше нет. Ей все же ввели эту вакцину, на которой настаивала старая гримза, а уже к вечеру малышка перестала дышать.

Убийцы... Вот для чего они забрали Бэтти от нее. Дело совершенно не в цвете лица, все было спланировано заранее. Убийство, за которое никого даже не станут судить. Нет такой статьи. Отец дал свое разрешение, а значит, все было законно. Отец... Да какой он отец! Чужой мужчина, взявший себе растерянную девушку как трофей, который при иных обстоятельствах никогда не смог бы себе позволить. Прыщавый глуповатый однокурсник, тайно вздыхавший о красавице Фрэнсис – в свое время она ему отказала в танце на школьном балу... Он получил мнимую власть над ней и отомстил за свое прилюдное унижение, превратив ее жизнь в серый пепел.

Скритчер! Сволочь, тварь бездушная! Ненавижу!

Если у Фрэнсис еще и оставались какие-то чувства внутри, то это была она – ненависть. Как смеют они называть себя людьми?! Нелюди, лишённые всего человеческого! Разве может настоящий человек, сказать то, что случайно услышала она сразу после похорон: «По крайней мере в нашем роду теперь не будет плебеев. Скоро у тебя появится родной ребенок от Фрэнсис, а в этой Бэтти текла чужая и отнюдь не голубая кровь».

Дальше девушка слушать не стала. Она поднялась в опустевшую спальню и быстро собрала все необходимое: документы, немного денег, которые скопила еще в студенческие годы, помогая с курсовыми менее усердным студентам колледжа, кое-какие украшения, преподнесенные отцом на свадьбу, усыпанный маленькими бриллиантами изящный кулон из белого золота – подарок Колина на восемнадцатилетие и потрепанного плюшевого мишку, того самого, с которым засыпала Бэтти... Фрэнсис на мгновение замерла. Бэтти любила его. Кормила, лечила, носила гулять и показывала ему маленьким пальчиком на большой новый мир. Мир, который ей так и не суждено было познать.

Уже подходя к дверям комнаты, в которую она больше никогда не вернется, Фрэнсис заметила на консоли альбом. Черно-белые фото, а на них улыбается еще живая малышка Бэтти.

И Фрэнсис все-таки заплакала.

Слезы текли по исхудавшим щекам, застилали глаза, солью попадали на обветренные губы... Но медлить было нельзя. В любой момент в дом мог зайти Скритчер и снова избить ее, как в прошлый раз, когда, совершенно устав от издевательств, она уже пыталась уйти от него год назад.

Тогда она объяснила всем, что упала с лестницы. Впрочем, даже скажи она правду, это еще нужно было доказать. Главным доказательством для судей в их городке по-прежнему явля-

лись деньги, аккуратно уложенные толстой пачкой в белый конверт, а их у Фрэнсис почти не осталось. Родительское приданое изъяла Стелла под предлогом того, что молодые не сумеют правильно распорядиться хорошей суммой и этот вопрос стоит доверить ей, более опытной и умудренной. Денег этих Фрэнсис больше ни разу не увидела. Скритчер же выделял ей только на самое основное и строго под отчетность. Позже он снова поднял на нее руку, невзирая на то что Фрэнсис в тот момент уже была беременна. Правду говорят: мужчину, ударившего однажды, больше не остановить.

Девушка наспех кинула фотоальбом в сумку поверх остального и выглянула в коридор – никого не видно и не слышно. Аккуратно прикрыв за собой дверь и ступая как можно более бесшумно, она прошла к черному ходу, пробралась сквозь заросли на заднем дворе и через маленькую калитку в глубине старого сада выпорхнула на волю... так навсегда и оставшись узницей страшных воспоминаний этих жестоких дней.

Фрэнсис вернулась в родительский дом. Она была настроена решительно, ей уже нечего было терять. Когда однажды мать сказала, что пора заканчивать это дешевое представление и нужно возвращаться к мужу – который убил Бэтти и своими издевательствами пытался отправить на тот свет саму Фрэнсис, – ведь все же он отец их будущего ребенка, девушка ответила, что, если эта тема всплывет еще хоть раз, она вонзит нож себе в живот и вспорет его, как заправский самурай. Мать поджала губы и ничего не ответила, но в тот же вечер ее стараниями Фрэнсис определили в отдельную палату клиники неврозоз.

Сейчас она лежала, отвернувшись лицом к стене, а воспоминания ярким диафильмом проплывали перед глазами. Ее здесь почти не лечили, так как она была беременна. Только давали какие-то травяные успокаивающие настои, отчего ей все время хотелось спать, да прописывали ванны с морской солью и хвойным бальзамом, который окрашивал воду в темно-зеленый и наполнял воздух запахом Рождества. Токсикоз перестал мучить Фрэнсис, и часто она даже не вспоминала, что внутри нее зреет новая маленькая жизнь.

Роды начались внезапно, раньше положенного срока. Не критично, но пришлось еще на месяц остаться в больнице, чтобы новорожденная девочка немного окрепла, набралась сил и продолжила свой жизненный путь без специальных препаратов и аппаратов. Молоко в груди за этот месяц перегорело, и Фрэнсис не кормила дочку так, как в свое время кормила Бэтти. Не прижимала ее крохотное тельце к себе в порыве нахлынувшей нежности, не гладила ее, уснувшую безмятежным сном, по головке. Она просто делала все, что положено было делать: стерилизовала бутылочки, готовила смесь по часам и меняла испачканные пеленки. Но – все машинально, не испытывая никаких чувств, кроме естественной усталости.

Девочку назвали Анной. Фрэнсис сама выбрала имя для дочери, хотя когда она еще жила в доме Скритчера, тот категорически заявил, что если родится сын – будет тоже Скритчером, а дочь станет Стеллой в честь матушки. Никакие доводы Фрэнсис о том, что дать ребенку имя в честь кого-то – значит определить одну судьбу на двоих, не принимались в расчет. И сейчас девушка была рада хотя бы тому, что ее дочь будет носить свое собственное имя, а не донашивать чье-то чужое.

За три месяца до родов Фрэнсис у ее матери обнаружили рак. Сгорела женщина быстро, наверное, потому что нечему было гореть. Умерев, она, пожалуй, даже не стала на двадцать один грамм легче. Ни слова раскаяния, ни просьбы о прощении – одна лишь гордыня, которая не позволила ей ни достойно жить, ни достойно умереть.

Отец Фрэнсис повел себя весьма неожиданно, хотя и крайне логично. После смерти жены он будто вдохнул глоток свежего воздуха. Оставив все имущество Фрэнсис, впервые поцеловал дочь на прощание и на собственные весьма солидные сбережения пустился в кругосветное путешествие. Позже он осел в каком-то южном европейском портовом городке, женился на девочке одного с Фрэнсис возраста, которая родила ему столь долгожданного наследника,

и исправно раз в полгода присылал дочери короткое письмо с общими словами о погоде и обязательную пачку фотографий жизнерадостного пухлого сына. Видно было, что отец наконец-то счастлив по-настоящему, будто весь предыдущий срок отбывал некую повинность, нес крест супружеских обязательств и исполнял свой долг – не более того. Словно только сейчас он вышел из тюрьмы и сейчас жадно вкушал жизнь, такую, какую всегда хотел, о какой втайне мечтал.

Фрэнсис испытывала противоречивые чувства. С одной стороны, она понимала отца и была рада за него, с другой... что ж, теперь она понимала и свою мать. Та прожила всю жизнь, зная, что она не нужна мужу, но так и не посмела выйти из собственного рукотворного ада, чтобы не быть осужденной теми, кто не вправе судить. Поэтому рак – самый логичный конец для женщины, проведшей долгие-долгие годы без любви. Любви к себе в первую очередь. Ведь если любишь себя, не станешь жить с тем, кто не смог тебя полюбить.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.